И на свечу смотреть уже больней, чем некогда – на солнце; без оглядки бежать – куда? – с собой играя в прятки, уйти в пространство? – щурясь меж теней, живою плотью влагу раздвигая, душой живою ждать, перемогая тоску – итог невысказанных дней, но ждать – чего? – когда она, другая придёт пора? – я время постигаю, которое чем дальше, тем родней.

Читали тогда – при свечах.
Образ свечи то и дело загорался в наших стихах.
У меня:

Наше время – свеча и полынь.

У Губанова:

Но стоит, как свеча, над убитым лицом
серый конь, серый конь моих глаз.

Свеча.
Над убитым лицом.

...Лёня Губанов стремительно, так, что его не догнать никогда, ни за что на свете, никому, никаким врагам, кто бы это ни был, менты, кагебешники или, может, все возможные силы зла, как бы нынче ни назывались, как бы ловко ни маскировались, но мгновенно распознавались, даже если им несть числа, весь – воплощенье движения, неудержимого, ввысь, весь – безоглядный, отчаянный, молниеносный порыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в нежданное измерение, в зазеркалье, за грань реальности, в новый век, в параллельный мир, вбегает, но так, что, похоже, взлетает, а то и возносится, топоча по ступенькам лестничным, а порой проносясь над ними неким сгустком энергетическим, так, что искры в подъезде сыплются с плеч его или с крыльев, может быть, и какие-то вспышки странные остаются надолго в воздухе на безумном или осознанном как спасенье от наваждения, от ненастья и отчуждения, ставшем отзвуком убеждения, сокровенном его пути, – скорее, как можно скорее, – ко мне, потому что жду я и снова его пойму я, – вверх, на четвёртый этаж.

Некогда ждать лифт. Незачем. Не до этого. Какой там лифт, если сам он так о себе сказал:

Скучая, любим и ведом,
в России, где морды биты,
я должен твоим поэтам
двенадцать копеек лифта!

Его несёт – а вернее, ведёт неясное что-то, трудновообразимое, видимо – невыразимое, но что же? Да кто его знает! Ведёт и ведёт. Ну и пусть!

Он врывается в дверь – с разгона. Или нет, конечно – с разлёта. Беззаконной кометой, что ли? Колобком из сказки? Ну вот! Сразу – сказка. Но как – без сказки? Несмотря на сплошные встряски, он действительно весь – оттуда. Это очень ему идёт.

Но кто же он? Это уж пусть гуртом – в грядущем – другие гадают.

Себя он оставил им – «на потом». Быть может, и распознают.

Вот он – стоит передо мной.
Гений. Смогист. Мальчик больной.
Парень дворовый. Почти хулиган.
Кореш богемный. Губаныч. Губан.

То ли подросток, то ли старик.
Что в нём за сущность? Плач? Или крик?
Что в нём за тайна? Что за печаль?
Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..

Белое, словно гипсовое, мертвенное, застылое, свечой бессонной ночною сгоревшее и оплывшее, бездонное, отчуждённое, в безмолвную глубь ушедшее, пугающее, бескровное, отверженное лицо.

Маска? Нет, на лбу – поволока ледяного, давнего страха.

В серых усталых глазах – тусклый отсвет смятения.

Взмокшая чёлка взъерошена, ворот белой рубахи торопливо, рывком, расстёгнут, чтоб свободнее было дышать.

Всё кончено, всё кончено.
Стихи мои повенчаны.
На пальцах черви кольчатые,
над головой бубенчики.
Сады опали яблоком,
пропахли мысли порохом.
И Муза – в платье ярком,
и рифмы – звонким ворохом.
Лежу седым преступником,
кричу слепым наставникам:
меня не арестуете
и Музу не заставите
петь! Не для вашей радости
да не из вашей волости.
Ну а пила для храбрости –
чтобы не сгинуть в подлости.

Лёня предельно взвинчен. Дальше – просто уж некуда. Настолько, что может, кажется, взвиться пружиной ввысь.

Длинные пальцы его то судорожно сжимаются, то с усилием распрямляются, чтоб сжаться мгновенно вновь.

Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-то по-детски, очерчены, в уголках их видна застывшая кровь.

Ноздри буквально трепещут. Щёки небритые дёргаются в нервном, беспомощном тике. Спазматически ходит кадык.

Он шумно вдыхает в себя воздух, и лишь постепенно спадает со всей его небольшой, но крепкой фигуры чудовищное напряжение, сходит зыбкая тень отчаянного движения, оголтелой, безумной гонки.

Тогда он устало закуривает, смахивает ладонью нависшее вдруг невесомое колечко сизого дыма.

От кого он бежал? От чего?

Он отмалчивается. Ну и пусть.

Куда он бежал – знал. Ему спокойно со мной.

Мы сидим с ним в пустой квартире, в тишине, в наступивших как-то незаметно и быстро сумерках, совершенно одни – и молчим.

Потом говорим с ним зачем-то что-то совсем простое – о житье-бытье, о погоде, о понятном, вполне земном.

Губанов не сразу, конечно, а так, по чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, слава Богу! Существует – в яви своей.

Видит оставшийся в старом, тёмном, в потёках, подсвечнике оплывший, слегка изогнутый огарок жёлтой свечи.

Зажигает привычно спичку, подносит её к фитильку.

Долго, пристально, весь уйдя в свет мерцающий, смотрит на пламя.

А на столе свеча горит,
горит Душа моя, не тает,
и Ангел с Богом говорит,
и Бог над Ангелом рыдает.

За окнами – там, где страхи его донимали, – темнеет.

Губанов, совсем по-домашнему, негромко читает стихи.

И Бог над Ангелом рыдает...

В начале семидесятых Губанову тяжело было жить, работать, просто – дышать, ощущать себя полноценным, востребованным, как ещё недавно и, казалось ему, так давно, человеком, ну а тем более – знаменитым в стране поэтом, нарасхват зазываемым ранее, днём и ночью, в любые компании, чтобы там он стихи читал и народ опять поражал, чтоб его на руках носили, обожали, ценили, чтили, подражали ему, желали познакомиться, подружиться, угощали вином, хвалили, по Москве на такси возили, всё, что он вытворял, прощали, без конца его выручали, вызволяли из всяких бед, потому что был он поэт, а не так, не хухры-мухры, словом, были к нему добры и внимательны все подряд, с кем он шёл сквозь рай свой и ад, с кем пудами ел вместе соль, пил, бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, видно, свыше ему дана, – без своего, по его разумению, детища – СМОГа.

Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружающих на стихи, живущему – действием, соборностью, перекрыли все пути, по которым он мог двигаться, обрубили все нити, связывающие его с миром.

Может, и не все, поскольку так вот запросто, пусть даже исходит это от властей, эти нити все разом никак не обрубишь, и связь с миром прекращается лишь тогда, когда человек умирает, а Лёня, слава Богу, был тогда ещё жив, и какие-то из нитей, которые не заметили, проглядели зоркие, бдительные, жестокие структуры, откуда исходили всевозможные запреты, оставались, были целы, ведь иначе и быть не могло, но так ему казалось, так – мнилось.

Впадая в отчаяние, в тоску, в свои сложные, крайне тяжёлые, состояния, периодически охватывавшие плотным кольцом его, мятущегося, мечущегося по Москве, по знакомым домам, или же прячущегося непонятно где от всех и всего, переживающего свою боль наедине с собственной душой, а потом с большим трудом, буквально из кусков, подолгу, внутренне собираясь, он всеми силами стремился сохранить за собой положение лидера московской богемы.

Ни веры, ни надежды, ни любви,
Стеклянные свидания в пыли.
Лицо свое на зеркале возьми,
Казни меня, казни меня, казни.
Наверно, это в чёрных городах
С монетою и чёлка молода.
Наверное, но только не покой –
С того бы света я ушёл к другой.
Ты знаешь, ты сегодня – береста.
Последнюю прическу перестань.
У гробика иконы убери.
Ни веры, ни надежды, ни любви.
Я на рассвете жуткого письма,
Но утром, к четырём часам, весьма…
Я вспомню прорубь в трёх верстах от глаз,
И эта проб.... мне не даст отказ.
Я завяжу на шее гордый шарф,
Я попляшу, я поплюю на шар –
На шар земной, который груб и скуп,
Где спят зимой и где весной умрут,
На шар земной, где у больных – мука,
На шар земной, где у здоровых – мука,

На шар земной, где мне твоя рука
Напоминает уголок и уголь.
Где спят, как жнут, перебегая ять,
Где яда ждут, как ждут любимых мять,
Где день и ночь в халате пьянь и лень,
Где тень, как дочь, а если дочь – как тень,
Картонный раб и на ресницах тушь,
В конторах драк служивых десять душ,
В моментах птиц – еврейская печаль,
В конвертах лиц – плебейская печать.
Работай, князь! Дай Бог вам головы,
Все та же грязь – управы и халвы.
Надейся, раб, на трижды гретый суп,
Оденься, наг, и жди свой Высший Суд.
Солите жён, дабы пришлись на вкус,
Над платежом не размышлял Иисус.
Я наклонюсь над прорубью моей –
«О, будь ты проклят, камень из камней!»
Где вечно подлость будет на коне,
А мы, как хворост, гибнем на огне.
Когда, земной передвигая ход,
Разучатся смеяться и плошать,
Я – то зерно, которое взойдет,
Не хватит рук, чтобы меня пожать.
Ну а пока крепи меня, лепи.
Ах, как же тянет спать да спать в гробу –
Ни веры, ни надежды, ни любви –
Я написал на белоснежном лбу…

Но времена изменились.

Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих – стремительно, для немногих – закономерно, и были они – другими, чем те, к которым привыкли все мы, то есть – родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда крутому, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, – теперь же, мы понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.

Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара.

Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характеризует всяческих зло-

пыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, унизить, окутать завесой замалчивания, – то он, будучи, по природе своей, жизнестойким и жизнетворным, сам себя ещё и защищает.

Просто – жить стало сложнее, и сложность эта поначалу озадачивала, хотя, вскоре к ней притерпелись, но она ощущалась как изрядная тяжесть, для большинства непривычная, и утрата былой лёгкости в отношениях оказалась невосполнимой ничем, и уже вселяла в души тревогу по поводу возможной утраты свободы, и требовала напряжения всех человеческих сил, – и далеко не всегда удавалось общаться столь же интенсивно, как прежде.

Да и усвоение духовных ценностей – занятие, согласитесь, настолько важное, что тут и соваться с вопросами и советами нечего, – было делом сугубо индивидуальным.

Ещё во многом следовало разобраться, многое передумать, находя для себя верные ориентиры и в странноватой, зыбкой действительности, пока что не устоявшейся, дрожжевой, и только начинающей преподносить сюрпризы и, с изуверской расчётливостью и актёрской привычкой к выразительным паузам, постепенно, снимая маску, показывать истинное своё лицо, – и, конечно же, в области творческой.

Это требовало неторопливых ритмов.

Лёнины же ритмы, нервические, импульсивные, с надрывом и перебором, для некоторых становились тяжелы, а то и невыносимы.

Губанова это обижало. Ему, не привыкшему к любого рода запретам и отказам, донельзя избалованному богемной, шумной, щедро сдобренной выпивкой и похвалами, двойственной, в общем-то, славой, об уровне которой он, с самого начала своего взлёта и в дальнейшем своём кружении по мистическим кольцам столицы, на удивление трезво заботился, – казалось это, прежде всего, проявлением зародившегося и уже непрерывно растущего человеческого невнимания.

Этой осенью голою,
где хотите, в лесу ли, в подвале,
разменяйте мне голову,
чтобы дорого не давали.

И пробейте в спине мне,
как в копилке, глухое отверстие,
чтоб туда зазвенели
ваши взгляды и взгляды ответственные.

За глаза покупаю
книжки самые длинные.
Баба будет любая,
пару чёрных подкину ей.

За таки очень ласковое
шефу с рожею каменной
я с презреньем выбрасываю
голубые да карие.

Ах, копилушка-спинушка,
самобранная скатерть,
мне с серебряной выдержкой
лет пяти еще хватит.

За глаза ли зеленые
бью зелёные рюмки,
а на сердце влюблённые
все в слезах от разлуки.

Чтоб не сдохнуть мне с голоду,
еще раз повторяю,
разменяйте мне голову,
или зря потеряю!

Груз собственных, сверхнасыщенных эмоциями, пронизанных пульсациями времени, озарённых вспышками прозрений и гнетущих его предчувствий, полных щемящего лиризма и эпического размаха, диковатых, сумбурных и таких оголённо-подлинных, стихов – оказывался порою, в прямом смысле слова, несносным для него.

Это не было напечатано, в книгах ли, в периодических ли изданиях, как и полагается, как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к тому же ещё бы и вовремя, – то есть не жило отдельной, особой, уже ни в чём не зависящей от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, войти настоящий, хороший читатель, друг поэта, неведомый или знакомый ему, но всегда возникающий в жизни печатного слова.

Это было записано на бумаге, в любимых Лёней больших тетрадях, наподобие амбарных книг, его характерным отчётли-

вым почерком, так, что каждая буква в строке существовала и вроде бы рядом с другими, и отдельно, сама по себе, как и сам Губанов, заметим, – или же просто, без всякой записи, держалось в голове, и вспоминалось навязчиво, ежесекундно, и томило его, тревожило, а не просто слегка волновало, – нет, его это мучило, жгло, – и он чувствовал потребность кому-то это прочитать, чтобы этот «кто-то» проникся прочитанным, понял его.

И буду я работать, пока горб
не наживу да и не почернею.
И буду я работать, пока горд,
что ничего на свете не имею.

Ни пухлой той подушки мерзкой лжи,
ни жадности плясать у вас на теле,
ни доброты – похваливать режим,
где хорошо лишь одному злодею.

Ни подлости – друзей оклеветать,
ни трусости – лишь одному разбиться,
ни сладости – по-бабьи лопотать,
когда приказ стреляться и молиться.

И буду я работать, словно вол,
чтоб всё сложить и сжечь, что не имею.
И как сто тысяч всех Савонарол
кричу – огня, огня сюда немедля!

В плаще, подбитом пылью и золой,
пойду лохматый, нищий, неумытый
по пепелищам родины другой,
как тот весёлый одинокий мытарь.

И буду я работать, пока гор
не сдвину этих трупов, что зловонят,
и буду я в заботах, как собор,
пока всё человечество зло водит

за ручку, как ребёнка, и шутя
знакомую даёт ему конфету
– ах, Бога нет, прелестное дитя,
и Бога нам придумали поэты.

Но есть, есть Страшный Суд, и он не ждёт,
не тот, который у Буонаротти,
а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт,
по щёчкам узнаёт вас при народе.

Ах, что вам стыд, немного покраснел,
но кровоизлияние – не праздник.
Да, на врачей вам хватит при казне,
как вам хватило дров при нашей казни.

Но буду я работать, пока гол,
чтоб с царского плеча сорвать мне шубу,
когда уже зачитан приговор
и улыбается топор не в шутку.

Но буду я работать до тех пор,
пока с сердец не сброшу зло и плесень.
Ах, скоро, скоро вас разбудит горн
моих зловещих, беспощадных песен!..

Каждой клеточкой существа своего ощущал он, что его намеренно загоняют в угол, сознательно и жестоко лишают возможности дышать, но не желал с этим наваждением смиряться.

Коренастый, губастый, взлохмаченный, то ли этакий богатырёк сказочный, то ли Емеля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, вполне подошло бы музейное, старинное, небольшого, по меркам нынешним, размера, воинское облачение, – да и вообще, как любил он подчёркивать, со значением и мальчишеским самолюбованием, приводя приятную для него и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! – боец, вождь, он снова страстно мечтал оказаться во главе своего воинства.

Но проявлять активность – да и просто-напросто рыпаться, возникать, слишком часто, больше положенного, напоминать о себе, и особенно предпринимать какие-нибудь, смогистского толка, скандальные акции, вроде многолюдных демонстраций, чтений в известных своей демократичностью научно-исследовательских институтах, вроде Курчатовского, и так далее, – то есть, выражаясь грубее и резче, мозолить глаза властям, – ему многозначительно и категорично, чтобы знал, что предел есть любому терпению, не рекомендовали.

Благодарю за то, что я сидел в тюрьме,
благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме,
благодарю за то, что жил среди теней
и тени не мечтали о надгробье.
Благодарю за свет за пазухой иглы,
благодарю погост и продавщицу
за то, что я без паюсной икры
смогу ещё полвека протащиться.

Благодарю за белизну костей,
благодарю за роковые снасти,
благодарю бессмертную постель,
благодарю бессмысленные страсти.
Благодарю за серые глаза,
благодарю любовницу и рюмку,
благодарю за то, что образа
баюкали твою любую юбку.
Благодарю оранжевый живот
своей судьбы и хлеб ночного бреда.
Благодарю всех тех, кто не живёт,
и тех, кто под землёю будет предан.
Благодарю потерянных друзей
и хруст звезды, и неповиновенье.
Благодарю свой будущий музей,
благодарю последнее мгновенье!

Он зачастил в психушки.

О, эта чудовищная, псевдоврачебная, совдеповская затея, эти предприятия по переделыванию здоровых людей в законченных инвалидов!

Слишком уж много моих приятелей прошли через этот ад, потому и есть у меня должное о нём представление.

Сам я – чудом его миновал. Повезло. Слава Богу, что – так. Но хватало мне встарь нервотрёпок и на воле, без всяких психушек, и ещё неизвестно, что хуже, и не хочется сравнивать их, потому что и то и другое – элементы системы одной.

Лёнина эпопея с психушками – затяжной, сплошной, откровенный мрак.

Помню, в середине шестидесятых ещё, в первый раз я поехал его навестить в больницу Кащенко. Привёз ему продуктов немного – чтобы поел, пачку чаю индийского – чтобы пил в своё удовольствие, стопку бумаги и авторучку – чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова – самый распространённый тогда, из малой серии «Библиотеки поэта», – чтобы читал.

И Лёня был тогда парень хоть куда!

Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха.

Порывисто, весело, с широчайшей улыбкой во всё лицо, с озорным, немного лукавым огоньком в широко раскрытых серых глазах, обнял меня. Потом, по привычке столичной своей, чего я не очень-то любил, почеломкался.

И, сразу, с места в карьер:

– Старик! У меня всё в порядке. Ну подумаешь, мать сюда посадила! Здесь все врачи меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. Пишу. А когда попросят, врачам и медсёстрам стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побуду здесь некоторое время, сколько там полагается. Думаю, что недолго. Зато отдохну. Витаминчиками подлечусь. А потом и отпустят меня восвояси. И снова буду на воле.

Довольный такой, оптимистичный, что я прямо диву давался, глядя на него, так оживлённо повествующего мне о своей расчудесной дурдомовской жизни, – и это на фоне больничных корпусов, палат, наполненных то истошно вопящими, то стонущими, то молчаливо глядящими перед собою людьми в измятых халатах, блёклых стен, решёток на окнах, то и дело проходящих мимо с каменными лицами врачей, каких-то грязных кастрюль, мисок и чанов, затхлой вони из кухни, шаркающих по полу подошв, тусклых электрических ламп, бьющихся в стёкла мух, паутины в углу, треснувшей штукатурки на потолке...

Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий.

А Губанов мне:

– Мы тут и поддаём, иногда. Если кто пронесёт с собой бутылку. Володя Высоцкий лежал здесь. Выписали его недавно. После запоя в себя приходил. Мужик что надо! Мы с ним подружились. Выйду отсюда – в театр к нему пойдём, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоём, разговаривали. И он, представляешь, всё время просил меня почитать ему ещё разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него – как он слушает? А он всегда расчувствуется, взбудоражится, и даже слёзы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи! Жалко, что уже свалил он отсюда. А то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили. И я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина!

Я поглядывал по сторонам – и особой малины вокруг что-то не замечал.

А Губанов мне снова:

– Здесь Володя Яковлев лежит постоянно. Врач мне гору его работ показывал. У них тут целый музей. Творчество психов. Живопись и графика. И моих рисунков там полно. Володя, как только ляжет сюда в очередной раз, так сразу и рисовать начинает. У него и краски с собой, и бумага. Вина он не пьёт, ты знаешь. А курит много. Мне врач вчера говорил: Яковлев дымит, как

паровоз, глотает лекарства, молчит – и только и делает, что рисует. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и берёт. Эх, поздновато я сюда залёг! Яковлев незадолго до меня выписался. А то я его разговорил бы. Может, и нарисовал бы меня. Художник-то он гениальный. А врачи о нём пишут, что псих. И репродукции с его работ в научные книги свои помещают. Вот, мол, какой у них имеется давний пациент. Врач меня стихи иногда переписать для него просит. Я для него по памяти уже много чего переписал. Здесь хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не скучаю. Да ещё и пишу свои новые вещи. Ничего, скоро выйду. И тогда нагуляюсь по полной программе. И ещё такое придумаю, что Москва изумится!..

Я смотрел на Губанова, слушал его – и вздыхал.

Это были – ещё цветочки.

Ягодки начались потом. И довольно скоро.

И тогда, по мере нарастания случаев, когда его вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, вырывали насильственным образом, выхватывали, изымали из привычной для него, сумбурной, переполненной происшествиями и впечатлениями жизни, унижая тем самым, придавливая, чтобы не рыпался, чтобы заглох, и в очередной раз помещали в психбольницу, где закармливали спецлекарствами, притупляя сознание, подавляя волю, старательно разрушая личность его, и кошмару этому надо было както сопротивляться, чтобы выжить, и надо было суметь остаться самим собой, – пребывание там вовсе уже не представлялось ему занятным, беззаботным, почти безоблачным времяпровождением в доме отдыха.

Психушки стали, если так можно выразиться, теневой, очень мало известной любителям его стихов, львиную долю его времени в совокупности своей сожравшей, стороной нелепой и хаотичной губановской жизни.

Сознательно, чтобы чего-нибудь не натворил, его упрятывали туда в годовщину пятидесятилетия советской власти, и до этого, и после этого, и множество раз, и не могло всё это пройти бесследно для его здоровья.

Я провёл свою юность по сумасшедшим домам,
где меня не смогли разрубить пополам,
не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам,
я на мёртвой бумаге живые слова не продам.

И не вылечит тень на горе, и не высветлит храм,
на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча.
Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм,
как не верят в пощаду холодные губы меча.

Со своим больным сердцем и никуда не годными нервами он был, тем не менее, на редкость вынослив.

Мог мобилизовать волю. При случае проявлял чудеса героизма. Или, наоборот, являл собою образец терпеливости. Заводился – с пол-оборота. Срывался – так уж на всю катушку, безоглядно, без тормозов. Держался – на упрямстве.

Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, терял контроль над собой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набузить, надерзить, влипнуть в историю.

Грею ли обледеневшее имя,
Водку ли лью в раскалённые губы,
Строится храм батраками моими –
Каждою буквой и доброй, и грубой.
Иконописцы ли жизни лишались,
Шмякаясь вниз и за хмель, и за гонор,
Ведьмы ль на карих бочонках съезжались,
Казнь полоскала волшебное горло.
Только ли врётся и только ли пьётся,
Только ли нервы в серебряных шпорах,
И голова под топориком бьётся,
Словно бы сердце в развалинах школы.
Только бы гений, скорее, глашатай,
Иль оглашенный по чёрному счёту,
Очень мне жалко, не я ваш вожатый –
Всё, кроме Бога, послали бы к черту!

Но его любили. И некоторые – пусть и не все – любили его по-настоящему.

Ему всё – или почти всё – пусть и поворчав, для порядка, пообижавшись, подувшись, – прощали.

Он словно нёс в себе, как в одном донельзя спутанном какими-то коварными духами клубке, вместе с дичайшими выходками и малоприятными, к сожалению, а потому и всякими сплетниками обсуждаемыми охотно и часто сторонами его, уж такой, какова она есть, нестандартной, так скажем, натуры, – и раскаянье, и смирение.

Моя звезда, не тай, не тай,
Моя звезда – мы веселимся,
Моя звезда, не дай, не дай
Напиться или застрелиться.
Как хорошо, что мы вдвоём,
Как хорошо, что мы горбаты
Пред Богом, а перед царём
Как хорошо, что мы крылаты.
Нас скосят, но не за царя,
За чьи-то старые молебны,
Когда, ресницы опаля,
За пазуху летит комета.
Моя звезда, не тай, не тай,
Не будь кометой той задета
Лишь потому, что сотню тайн
Хранят закаты и рассветы.
Мы под одною кофтой ждём
Нерукотворного причастья
И задыхаемся копьём,
Когда дожди идут не часто.
Моя звезда – моя глава,
Любовница, когда на плахе
Я знаю смертныя рубахи
Крахмаленные рукава.
И всё равно, и всё равно,
Ад пережив тугими нервами,
Да здравствует твоё вино,
Что льётся в половине первого.
Да здравствуют твои глаза,
Твои цветы полупечальные,
Да здравствует слепой азарт
Смеяться счастью за плечами.
Моя звезда, не тай, не тай,
Мы нашумели как гостинница,
И если не напишем – Рай,
Нам это Богом не простится.

Необузданный нрав его – не природное свойство характера, но скорее – от вызова, от желания защитить замечательную детскость, всегда жившую в нём и бывшую его сущностью.

Скоро, одиночеством запятнанный,
я уйду от мерок и морок
слушать зарифмованными пятками
тихие трагедии дорог...

Угловатый подросток, да и только.
И в жизни, и в стихах.

Ах, меркнут сумерки кругом.
Ох, мелом судороги крестятся.
Как семиклассник, я влеком
коричневой спиною лестницы...

Задиристый паренёк из московских дворов.

Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю...

Школьник, из числа способных, но хулиганящий.

Я сам твой первый второгодник,
чьи дневники никак не тонут...

И – глубоко, по-своему, верующий человек, заядлый, по своим задачам и возможностям, книгочей, благодарный, тоже по-своему, не всегда, к сожалению, а в прямой зависимости от сиюминутного своего состояния, от каприза или порыва, то чаще, то реже, слушатель тех людей, от которых мог, или мог бы, он почерпнуть нечто важное для себя.

Стыжусь ваших глаз,
боюсь непритворно.
Спаси меня, Спас
мой Нерукотворный!

Соединение противоположностей как-то запросто, по-домашнему, и свободно в такой степени, что отдавало почти полным отсутствием контроля над собственными поступками, утратой чувства меры, а то и откровенной, без малейшей даже маскировки, распущенностью, что я не без оснований ставлю в вину развращавшей его, преувеличенно, с примесью сладкой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сбивавшей с толку, то есть выполнявшей нехорошую работу, словно от тёмных сил зла получившей задание сгубить человека и усердно из выполнявшей, вполне определённой, псевдобогемной прослойке в столичном богемном роении, – правда, и сам Губанов был далеко не подарок, и слишком уж часто себе позволял такое, чего позволять не следовало, но дар у него был, и дар этот был настоящим, и порою, спохватываясь, то сам Лёня отчаянно боролся за него, за его сохранение, то

дар его, точно смилостивившись, выручал его, вывозил, в силу своей подлинности, а следовательно, и живучести, но годы шли и шли, и развитие губановское то делало рывок вперёд, обнаруживалось в новом качестве, и этим радовало, то сызнова притормаживалось, и это огорчало, но вера в движение оставалась, и происходил наконец новый рывок, и дар его, укрепившись, воспрянув, расцветал, как бывало когда-то, в молодости, в лучшую, самую сильную, ошеломляюще яркую пору его творчества, – да, что и говорить, соединение противоположностей, разнополярность многих его черт, настроений, сторон характера, в непрерывном брожении общем, кипении, с доведением до высшей точки нагрева, со взвинчиванием и разрушением всех нервов, живых клеток, частиц своего естества, с маниакальной потребностью постоять, ещё и ещё, «у бездны на краю», побывать на грани гибели или прозрения, заглянуть за черту, прогуляться в зазеркалье, совершить путешествие на тот свет, а потом и вернуться обратно, как ни в чём не бывало, непрерывно, то по-детски, любопытствуя, то по-юношески, с озорством, то с беспечностью вневозрастной, на авось, то сознательно, целенаправленно, играть с огнём, испытывать себя всё в новых, желательно экстремальных ситуациях, проверять себя на прочность, разуверяться в чём-то, а потом во что-то уверовать, и жить, жить, жить, жадно, стремительно, пламенно, и спешить, и куда-то лететь, и взлетать над землёй, воспарять, и обрушиваться нежданно вниз, на ту же самую землю, падать, с болью, с мукой, с увечьями, и при этом смотреть в небеса, и вставать, и мчаться вперёд, и, очухавшись, рваться ввысь, и всё это называлось особым соединением разных противоположностей, – и всё это, всей этой кипенью, действительно уживалось, уживалось в нём, как и в неустанно воспеваемой им России, у которой, по его ещё юношескому и с годами только крепнущему убеждению, «всё впереди, всё впереди».

Сейчас, в наше с вами, свободное, или псевдосвободное, может быть, но такое, какое уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, как и всегда, невесёлое, в общем-то, время, но зато и такое, в котором вдосталь всяких полезных открытий и действительно замечательной, многоликой и многозначной, настоящей, живой новизны, как-то слишком охотно и много рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто по верхам, о всякого рода энергиях.

Конечно, они есть. Как им не быть – в мире? Само бытие, весь космос, жизнь в нём – сплошные энергии. И слово, и мысль,

и музыка, и живопись, и любовь, и грусть, и радость – энергии. Время, а с ним и пространство, и память – тоже энергии. Везде, во всём и всегда, вокруг – сплошные энергии. Круг из энергий. Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И – путь. Везде на пути – энергии. И – свет созиданья. Так. Энергии бесконечны. И воздействие их все мы ощущаем всегда на себе.

Да и мистическое нынче в почёте.

Но оставим в стороне шарлатанство и паразитирующих на модной теме невежд.

Посмотрим на дело серьёзно.

Губанов – поэт мистический, отрицать это невозможно. И – поэт очень русский.

То древнейшее, ведическое, что было у него в крови, порой смутно, порой отчётливее осознаваемое, но врождённое, диктующее образ и строй, постоянно прорывалось наружу, соединяясь с другими, усвоенными им в процессе духовного развития, традициями, в первую очередь с православной верой.

В этом сплаве роли кремня и огнива играли интуиция и вдохновение.

Губанов был прирождённым импровизатором. Надо опять подчеркнуть эту грань его дара и напомнить об этом.

Когда в нём вспыхивал огонь творчества, он, будучи буквально за минуту до этого совершенно другим, весь, моментально, всем своим существом, почуявшим приближение чуда, преображался.

Глаза, дотоле какие-то мутные, словно спящие, вдруг ярко вспыхивали, изнутри, из глубины своей, странным, соединяющим жар и влагу, пламенем, а потом, высветляясь всё более, наполнялись какой-то загадочной, межзвёздной, что ли, материей, или энергией, и стояли, как две звезды, посреди бесчасья, во мгле, на краю беды, и сияли.

В его движениях тотчас же появлялась, я бы сказал, раскованная, вне логики, рисковая сосредоточенность.

Стихи свои зачастую записывал он почти набело, – позже, и то неохотно, вносил иногда в текст некоторые, всего лишь, мелкие уточнения.

Когда же он сам начинал править и упрощать собственные стихи, наивно надеясь, что, может быть, на родине их издадут, – и эта самоцензура и редакторство доморощенное настигали его, бывало, уже в поздние годы его, пусть и дико это звучит,

потому что был он тогда, относительно, пусть, но молод, ну – за тридцать, подумаешь – возраст! – что ж, возможно и так, для кого-то, я подумал, но не для него, про себя-то он всё уже знал, – когда же свои стихи переписывал он самолично, подчеркну ещё, без принуждения, по причине, для всех неясной, ум за разум, наверно, зашёл или нечто вроде затмения было с ним, такое бывает, – когда же свои стихи, повторяю, он переделывал, – то всё из них исчезало, что было его, губановским, и получался некий блёклый, невыразительный, так, с отдельными блёстками, но без горения, текст.

Поэтому надо Губанова издавать – лишь в подлинном виде. То, что было записано им – в озарении и прозрении.

Сивилла, наверное, тоже не заботилась вовсе о стиле.

Ведические певцы вряд ли правили свои гимны.

Лирники украинские не брали в расчёт пунктуацию.

Орфею и в голову не приходило работать над текстом с редактором.

Вспомним Хлебникова – «и так далее...»

Следует учитывать громадное воздействие стихов его на людей, особенно при чтении их самим поэтом, впадающим в транс, причитающим, плачущим, кличущим, вещающим, – да и при чтении текстов с листа, когда работает их поле, – чрезвычайно сильное.

Губанов не только сам обладал мощной энергетикой, но и обострённо-чутко воспринимал все приходящие к нему извне «сигналы» времени и пространства.

Был проводником между высшей силой, руководящей его творчеством, и своими слушателями или читателями.

Не зря сказано: на всё воля Божья.

Губанов и был выразителем воли Божьей.

Делал это, как умел. Не всегда осознанно. Потому что в состоянии транса сознание спит, а бессознательное создаёт образы. Сказанные и записанные в таком состоянии слова – не результат лабораторно-дотошной работы, но – озарение, ясновидение, пророчество.

Абсолютно всё, что предсказывал Губанов, с Россией уже произошло. И происходит дальше.

По счастью, в лавине трагизма брезжит спасительное, отзывающееся не лживым современным практицизмом, а несокрушимым ведическим разумом «всё впереди».

Лёня, Лёнечка! Лёнька. Губаныч.
Заводила, упрямец, страдалец.
Я ещё расскажу о тебе.

А пока что оставайся на старом нашем снимке – молодым, в луче своей ранней и горькой славы.

Смотри и с фотографий начала семидесятых – уже другим, изменившимся, намаявшимся, набравшимся житейского опыта и не желающим сходить с дистанции; оставайся и на них – поскольку предстоит тебе ещё столькое пережить и столькое сказать, чтобы оставить всем нам свой образ времени.

Оставайся в стихах своих – навсегда.

И сгорев, мы воскресаем
Вознесенья вешним днём.
Небо с синими глазами
в сердце плещется моём.

Узнаваем ты в любой строчке.
И свеча твоя – не погасла.
И лицо твоё – не убито.

Свечи не догорели, ночи не отцвели, – вправду ли мы старели, грезя вон там, вдали? Брошенная отрада невыразимых дней! Может, и вправду надо было остаться с ней? Зову служа и праву, прожитое влечёт – что удалось на славу? Только вода течёт. Только года с водою схлынули в те места, где на паях с бедою стынет пролёт моста. Что же мне, брат, не рваться к тайной звезде своей? Некуда мне деваться – ты-то понять сумей. То-то гадай, откуда вьётся седая нить – а подоплёку чуда некому объяснить.

г. Коктебель